

Константин
ВОРОБЬЕВ

*Вот пришел
великан*



Константин Воробьев
...И всему роду твоему

«ЭКСМО»

1975

Воробьев К. Д.

...И всему роду твоему / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1975

ISBN 978-5-699-45914-8

К.Д. Воробьева называют «русским Хемингуэем», и споры вокруг его имени не утихают до сих пор. А он продолжает удивлять читателя искренностью и пронзительностью повествования, убежденностью авторской позиции, о чем бы ни писал: о войне, о любви, о трагедии русской деревни, пережившей коллективизацию, об утрате самой необходимости быть хозяином на родной земле.

ISBN 978-5-699-45914-8

© Воробьев К. Д., 1975

© Эксмо, 1975

Константин Дмитриевич Воробьев

...И всему роду твоему

Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга – густая и туманно-седая, как это и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо пегой, а не первозданно желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли. Денис с петушиным вызовом всему свету сказал сегодня утром, когда пора было прощаться:

– Ничего, пап! Все равно ты еще как... знаешь кто?

Уже одетый, Сыромуков стоял тогда в коридоре и под горькую мысль: «Глаза б мои не глядели» – рассматривал себя в зеркало. Он притаенно напрягся, ожидая, но Денис долго искал – в почтенных книгах, конечно, – на кого там вознесенно похож его отец, и ничего не нашел.

– Ладно, – бесстрастно сказал Сыромуков. – Ты тоже похож на него.

– На кого? – ревниво спросил Денис и вытянулся перед зеркалом до хруста в позвонках. Сыромуков опустил плечи, умалившись в росте, и все получилось так, как надо было: хохол на макушке Дениса торчал вровень с беретом на голове отца.

– Ну вот. Видишь? Осталось каких-нибудь сантиметров пять, – серьезно сказал Сыромуков. – Это как раз на четыре недели, даже меньше.

Денис согласно кивнул – верил, что подрастет на пять сантиметров за месяц, а Сыромуков досадливо подумал: до каких пор сын пребудет ребенком – лет до восемнадцати? Или до тридцати?

Впрочем, он возмужает сразу же, как только настанет тот день. На фронте такое происходило с ребятами сплошь и рядом. Командовал же он сам остатками роты? Командовал! Почти целые сутки... Со свистком... Он отгял его из руки капитана Ершова, когда тому... Да и не отгял, а выломил, потому что пальцы ротного уже окоченели, а свисток казался суеверно необходимым: все надо было делать в бою так, как делал капитан...

– Ну, будь жив и здоров! – приказательно сказал Сыромуков, и Денис по-ребячьи ответил: «Хорошо». Они, отступив от зеркала, взрослым рывком пожали друг другу руки, но Денис чуть-чуть задержал в захвате ладонь отца и пожал ее сильнее и судорожней, чем это бывало раньше, если им приходилось расставаться. Из своей комнаты – ждала там чужая, пока простятся свои, – в коридор вышла Филипповна, их приживальная хозяйка, бывшая нянька Дениса, древний божий одуванчик, «буся». Она ненужно спросила Сыромукова, не забыл ли он свои лекарства, а у самой губы скорбно собрались в трубочку, и Сыромуков с осторожной преданностью – как покойника – поцеловал ее в лоб.

Заказанного с вечера такси у подъезда не было. Еще не совсем рассвело, и фонари горели под мгой взъерошенно и тускло. Перчатки, конечно, следовало вынести с вечера на балкон. Денис же возмужает сразу, как только... Может, это случится весной. В марте, например. Тогда через месяц обновится мир, а это захватит и уведет его в сторону... В мае все оживает и возрождается. В мае выводятся аистята... И начинается рыбалка... Но Денис до сих пор не умеет насаживать червя. Не то боится, не то брезгует. А возможно, и жалеет... Любопытно, сколько их там, внизу, пород? Шесть или двенадцать? И с чего они начинают? С мозга? Или с сердца?

Заказанная машина не появлялась, и Сыромуков решил идти к стоянке. Мягкий венгерский чемодан на весу выгибался и круглился, как бурдюк, и было опасение, что поклажа сомнется к чертовой матери и что сквозь звенья «молнии» просочится сырость и рубашки пожелтеют.

– Надо было покупать отечественный турсук с железными нашлепками по углам! – вслух сказал себе Сыромуков и неизвестно на кого разозлился. Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью, – шофер, наверно, поддал газу, а Сыромуков подумал, как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно, – оно так толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так под горлом – стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним через долгую, как целый век, паузу второй, потом третий, а после начиналась скачущая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Это – страх – каждый раз было новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение – они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе, зачем они это проделывали.

– Ну вот и все, – сказал Сыромуков и достал из кармана пальто стеклянный цилиндрок с нитроглицерином. Он знал, что после приступа это лекарство уже не нужно, но все же всякий раз, если приступ застигал его на улице, покорно глотал белое зерно.

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом, – наверно, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут на всякий случай окажется сухое место. Рыжий сгорбившийся чемодан показался ему отсюда бездомной намокшей собакой, и Сыромуков крадущимся шагом пошел к нему, словно намеревался поддеть его ногой. До ближайшей остановки такси было три прогона в автобусе, но начинался утренний час «пик», и Сыромуков не решился рисковать, – в костоломной давке при посадке и выходе застеежка-«молния» на чемодане могла порваться: это все же заграничная штука, черт бы ее побрал, а не отечественный окованный турсук на замках. С тем-то, пожалуйста, с тем куда угодно!

Сердце работало нормально, в нем только чувствовалась ставшая давно привычной, ровная и тихо ноющая боль, похожая на зубную, когда там, где-то глубоко в корне образуется свищ. Маленький. Начальной стадии свищ, с которым можно примириться и жить... если, конечно, не нажимать на зуб сильно. Не есть, например, хлебные корки. Копченую колбасу. Не разгрызать сухари... То же самое и с сердцем – не надо на него нажимать. Ну, не совсем, скажем, не нажимать, а стараться отворачивать его от лишних «затвердевших» мелочей жизни. Тут всегда с большой пользой для него работает чувство юмора. И еще рассудительность. Вот, к примеру, тот таксист, что не остановился. Во-первых, он, возможно, торопился по вызову. «А к тебе он явился по вызову?» Не в этом дело. Допустим даже, что он ехал не по заказу, а так. «А ты в это время шел по кромке тротуара и поднял руку...» Минуточку! Нужно всегда объективно и по возможности быстро вникать разумом в подлинную суть любого человеческого поступка и результаты такого исследования сообщать сердцу. Тогда все будет в порядке. «Потому что на основании полной информации нельзя принять никакого решения?» Да нет... дело ведь в том, что на таксистов подают жалобы, если те подбирают бродячих пассажиров помимо стоянок. А в автоконторах по этим жалобам принимают меры к нарушителям, понятно? Значит, бессердечность и хамство таксистов тут ни при чем. Да и вообще не бывает сердечного хама. Ну что такое хам с сердцем? Абсурд! «Словом, надо уметь оборачиваться в будень изнанкой, а в праздник лицом?»

– Хреновый ты философ! – сказал себе Сыромуков. – Нельзя ведь жертвовать истиной ради какого бы то ни было интереса!

Стоянка такси была уже недалеко, и там бездельничало несколько машин.

По тому, что шофер аккуратно внедрил чемодан в чисто прибранный багажник, что сиденья новой «Волги» еще не обшарпались и в машине было уютно, что на ходу в ней ничего не дребезжало, а при подъеме в гору мотор не завывал в немоющем надсаде и ему не надо было помогать напряжением сердца, Сыромуков отрадно почувствовал то спокойное удовлетворение, которое всегда приходило к нему, когда жизнь вдруг представлялась прочной и благополучной. Он сел не рядом с шофером, а на заднее сиденье, один, проворно и празднично, и ему захотелось ехать долго и неизвестно куда. В этом всеприветном состоянии духа он ощутил почти самодовольное уважение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему. «Ты еще достаточно молод и долго останешься таким, и, значит, с Денисом тоже все будет в порядке».

– Все надежно и все хорошо! – нечаянно громко проговорил он.

– Да, машина будь здоров, если б не передние подшипники, – по-своему понял его шофер.

– А что? Подводят?

– Летят на третьей тыще. С «Запорожца» поставлены, понимаешь?

– Исправят со временем, – убежденно сказал Сыромуков.

– Понятно, что исправят, – согласился шофер. – Но я тебе скажу: самая правильная машина для нашего брата-таксиста был «Москвич». Точно говорю!

– Мал ведь, – возразил Сыромуков.

– Не играет роли. Все равно по одному больше возишь. Зато там расход горючего меньше и управление легче... Там, бывало, знаешь как? Едешь, допустим, ночью и левой рукой рулишь, а правой настроение создаешь. Сколько угодно!

– Кому? – не понял Сыромуков.

– Ну кому! Понятно, пассажирке, ежели она не против и сидит рядом, – засмеялся шофер. Ему было лет тридцать пять, и то, что он посчитал уместным сказать Сыромукову про настроение, означало только одно – Сыромуков сошел за его ровесника, в крайнем случае за сорокалетнего, с кем еще можно толковать на озорные мужские темы.

«Да-да, все пока хорошо и надежно, – подумал Сыромуков, – и этот шофер, видать, отличный малый с крепким нутром. Такие жизнестойкие, круглые душой люди очень нужны. Они помогают ближним своим – тем, кто немного устал, – создавать некую радужно-бездумную моральную преграду для психической уязвимости. С таким народом полезно общаться... даже если они тяготеют к матерным словам. Подумаешь, великая беда!»

– Закурить можно? – бодро, с предчувствием чего-то еще лучшего спросил Сыромуков.

– Вот чего нельзя, брат, того нельзя, – помедлив, ответил шофер. – Понимаешь, мы с напарником договорились: ни самим чтоб, ни другим. Так что извини.

Сыромуков поспешно сказал «конечно» и спрятал сигареты.

Здание аэровокзала всегда производило на Сыромукова удручающее впечатление своим бегемотно-тяжелым видом, так как построили его тут уже давно, сразу же после войны, и руководящей идеей эстетически слепого архитектора, как полагал Сыромуков, не были избраны ни гармония, ни забота о парящем настроении пассажира. И у входа, и внутри самого здания было много массивных приземистых колонн, возведенных одна возле другой, но не несущих на себе почти никакой нагрузки. Склеп. А вернее, заземленный пантеон чьей-то давно померкшей славы, подумал Сыромуков, но тут же отметил, что сооружено это прочно, на века. Уже шла регистрация билетов на кавказский рейс, и Сыромуков стал в очередь: самолет отлетал в восемь, а на место прибытия в одиннадцать с минутами, – в Киеве была промежуточная посадка. Сыромуков плохо переносил высоту. Сердце в полете как бы разбухало, опускалось вниз, на желудок, и щемило так, что не помогали ни валидол, ни кордиамин. В сущности, он так и не выяснил до конца, что было причиной его дурного самочувствия в самолете – только ли больное сердце или же – помимо него – самая настоящая боязнь живота за благополучный

исход полета. Изначальным всегда был тайный ребяческий страх у самолетного трапа, сердце же опускалось и щемило позже, когда взрывались турбины и следовало пристегиваться ремнями к креслу. Но как бы там ни было, а Сыромукову все же хотелось считать, что повинно во всем этом сердце, что страх появляется из-за него. Только из-за него.

– Вы будете крайний?

Сыромуков оглянулся и с нажимом ответил, что он последний. Спрашивал по-девичьи краснощекий молоденький лейтенант в отлично сшитой новой шинели. Фуражка с веселым задором сидела на его белесой голове, и белый шарф выпрастывался из-за воротника шинели по-уставному узкой кокетливой полоской. Эта опрятность в одежде лейтенанта и весь его радостно-удачливый облик погасили в Сыромукове досаду на то, что тот произнес слово «крайний», ибо с удачливыми по виду людьми ему казалось безопаснее летать в самолете. Он поверяюще оглядел очередь и заметил в ней двух высоких молодцов кавказского типа в глыбовидных кепках и в одинаковых темно-зеленых нейлоновых куртках. Парни не выпускали из рук громадные дорожные чемоданы, и это тоже успокаивающе действовало на Сыромукова: дети гор в последнее время сильно полюбили Прибалтику, благополучно доставляя сюда на «Ту-124» виноград и мандарины и безаварийно увозя местный ширпотреб, главным образом ковры. Сыромуков решил сидеть в самолете рядом с лейтенантом или же с теми двумя...

Вылет задерживался сперва на час, потом еще на два, и посадку объявили в одиннадцать. Мгнута прекратилась, но небо было рыхлым и низким, насплошь затянутым тучами. На сыром аэродромном поле тесно стояли элегантные, хищно устремленные вперед самолеты, и, как всегда при виде их, Сыромуков испытал смутную обиду на свою судьбу – одного десятка таких «тутушек» хватило бы тогда, когда он командовал остатками роты под Ржевом. Да что там десятка! Хватило бы и пяти, даже трех, – каждый ведь небось может поднять две сотни пятидесятикилограммовых фугасных дур!

«Черт бы вас побрал!» – восхищенно и тихо обругал он в душе авиаконструкторов, опоздавших помочь ему тридцать лет назад. У нижней ступеньки трапа аристократически красивая девица, похожая на лермонтовскую Мери, проверяла билеты и паспорта. Благополучный лейтенант, стоявший впереди Сыромукова, лихо козырнул ей, прежде чем подать документы. Потом он козырнул вторично, когда взял их назад.

– Не задерживайтесь! – строго сказала ему «княжна», и Сыромукову это понравилось непонятно почему. Свой посадочный талон, билет и бессрочный потрепанный паспорт он подал и принял безразлично-небрежно, не снимая с руки перчатку и избегая взглядом девушку, – тоже, как ему хотелось думать, неизвестно почему. Ни рядом с лейтенантом, ни позади тех двух в кепках сесть не удалось – каждый стремился занять свое кресло, указанное в билете, и в салоне образовалась толкучка. Соседом Сыромукова оказался человек неопределенного возраста с продолговатым, болезненно землистым лицом. Он доверчиво, с мягким прибалтийским акцентом сообщил Сыромукову, как только уселся, что едет на курорт по бесплатной путевке.

– Вы тоже, может быть, в Ессентук?

– Нет, я дальше, – ответил Сыромуков и тут же, укоряясь своей сухостью, вежливо, хотя и не без наставительности объяснил, что ессентукские воды давно признаны самыми лечебными в мире. Сосед деликатно кивнул. Ремнями пристегивались не все, но леденцы, которые внесла в салон «княжна», брал каждый. Скрытно от соседа Сыромуков положил себе под язык лепешку валидола и, глубоко втиснувшись в кресло, развернул газету – начинался взлет. Американцы, черт возьми, продолжали бомбить Северный Вьетнам... Они летают там на малой высоте, потому что иначе их сбивают ракетами. Это, наверно, очень просто – сбить высоко летящий самолет отлично сделанной ракетой. Они, надо думать, похожи на торпеды. Такие сигарообразные. Блестящие такие. Хорошие ракеты. Наши! Все-таки у нас – все прочное и добротное...

Ощущение земной тряски оборвалось внезапно, но в воздухе самолет чуть-чуть провалился, как бы осев на секунду в яму, и сердце у Сыромукова тоже провалилось – он не переносил невесомости. В иллюминатор было видно накрененное крыло самолета, вернее, начальную его часть. Заклепок там хватало. Они отстояли одна от другой не дальше сантиметра, и Сыромуков оценил это как большое достоинство в самолетостроении – прочность ничему не вредила. Никогда. Хотя оконечность крыла не проглядывалась из-за тумана, Сыромуков решил, что заклепок там должно быть еще больше, раза в два. Наконец самолет пробился за пределы туч и сразу же перестал крениться и вздрагивать. Салон озарился солнечным светом, а табло погасло – разрешалось курить. «Княжна» по внутреннему радио хозяйски вежливо предупредила уважаемых пассажиров, что в полете воспрещается пользоваться фотоаппаратом, сообщила фамилию командира корабля, скорость и высоту полета, температуру воздуха за бортом: там было сорок четыре градуса.

– Колодно небе! – дружелюбно сказал Сыромукову сосед. Он предложил сигарету, но Сыромуков поблагодарил – под языком у него в помощь ноющему сердцу лежала горько-холодная лепешка валидола. Она будет лежать там, если не сосать усиленно, еще минут пятнадцать или двадцать. В «Огоньке» ничего не было для воздушного чтения, зато в «Смене» оказалась любопытная притча об итальянском короле Умберто Первом. Король и похожий на него ресторатор по имени Умберто родились будто бы в один и тот же час, женились одновременно на девушках с одинаковыми фамилиями, в одни и те же даты у них появились сыновья и дочери, которых нарекли тождественными именами. Оба двойника – и король, и простолюдин – погибли в один и тот же день, но с той только разницей, что ресторатор попал под колеса кеба, а короля пристрелил террорист. В этой истории все было хорошо, кроме конца, – кому такое надо! Жили бы и жили себе эти Умберты. Но черт угодил ресторатора под какую-то там повозку. В пьяном состоянии, конечно. И поскольку его жизнь фатальным образом была связана с судьбой второго Умберто, то и тому предстояло умереть одновременно с ним, хотя и другим способом. Это и понятно. Не мог же рок – или какая-то там надмировая непостижимая сила, называй как угодно! – толкнуть короля под колесо уличного рывдана. Его величеству и смерть возвышенная. Для того и существуют – ну пусть существовали! – террористы... Кстати, убийцу, конечно, схватили и повесили. Но могло же стать, что у него был свой двойник. Не обязательно в Италии, а вообще на земном шаре. Как же в этом случае? Получается, что тот тоже должен погибнуть? Даже будучи ни в чем не повинным? Очевидно, так. А вообще-то люди, в сущности, все двойники. Все до единого. Может, оттого за безумные античеловеческие преступления одного какого-нибудь мирового выродка в конечном итоге расплачивается жизнью не один человек, а тысячи. Даже миллионы, потому что тогда происходит некая кошмарно-кровавая цепная реакция... Да-да! Люди – двойники. И поэтому каждый обязан вести себя достойным образом. Всегда! При любых обстоятельствах!..

Это рассуждение Сыромукова прервал летчик, скорее всего бортинженер, зашедший в салон из пилотской кабины. Он был приземистый, темноволосый, в курчавых бакенбардах на кирпичном курносом лице – вылитый Давыдов из «Войны и мира», как отметил Сыромуков под успокаивающую мысль, что летному составу, надо полагать, запрещено пить. Давыдов прошел в хвост самолета, но вскоре вернулся и в проходе возле кресла Сыромукова отогнул с пола край ковровой дорожки. Он приподнял крышку оказавшегося там люка и неловко полез в него, подсвечивая себе карманным прожектором. Такие фонарики продаются свободно в любом хозяйском магазине; ими в осенние вечера вооружены все ребяташки страны, и неужто для бортинженеров реактивных лайнеров не существуют светоизлучатели, которые своей, скажем, необычной формой внушали бы большую степень доверия к их надежности. Это во-первых. А во-вторых, почему внутренность самолета затемнена? Что тут хорошего – тьма, заключенная в алюминиевый цилиндр, несущаяся при солнце за облаками? И что вообще понадобилось там этому гусару? Сыромуков окинул взглядом салон и увидел, что все пассажиры напряженно смотрят

в сторону люка. Смотрели туда и те благополучные парни с гор, при этом они одновременно забрали с сетки свои кепки и насадили их на головы – синхронным движением рук. В люке тем временем что-то справно щелкнуло, и электрический свет заполнил чрево самолета. Оно было пустым, но вдоль видимого Сыромукову противоположного борта пролегал толстый сноп проводов – красных, желтых, синих и каких угодно. Временами на них наползала перемежающаяся тень: бортинженер что-то делал там, никому не видимый, и Сыромуков оторопело подумал, неужели он знает и помнит назначение каждого провода в такой охапке? Невероятно! А что происходит, если в одном из проводов образуется надрыв или замыкание? Падение? Или взрыв? Конечно, этого не может быть... Случается, возможно, но очень редко. Очень! Между прочим, экипажи пассажирских лайнеров лишены права пользоваться и парашютами, потому что их просто не дают им, а это тоже что-нибудь да значит! Но все же, сколько это продолжается? Минуты три или больше? И как тогда ведут себя люди? Что они делают? Целуются, прощаясь? Или же кричат? Сходят с ума? И умирают от страха до того, как самолет врежется в землю? Этого никто не знает, потому что не остается свидетелей... А вообще-то надо обниматься и что-нибудь говорить друг другу... например, о том, что это продлится недолго. Или что мы останемся живы, раз пристегнуты ремнями. Да мало ли что найдется тогда сказать!.. А как потом устанавливают, кто был кто? По документам и билетам, конечно. Это ведь остается целым...

В правом кармане пальто Сыромукова лежали желуди. Пять штук – накануне отлета он с Денисом был в лесу. Ну, желуди едва ли вызовут удивление, а вот кальсоны! Главное, что они с широченной отвисшей мотней и сиреневые. Надо же вырабатывать такую срамоту! Как запустили сорок лет назад, так и гонят. Да такие несуразные кальсоны ничего не могут вызвать кроме презрительной насмешки. А это совсем ни к чему. Нельзя, чтобы на Дениса легла хоть малейшая тень унижения за отца! Черт дернул надеть их!..

Сыромуков посмотрел в иллюминатор. Скошенное назад крыло самолета сверкало тускло и льдисто, и заклепок на его оконечности в самом деле было раза в два больше, чем у основания. Чистое небо синело какой-то прореженной утренней лазурностью, а под крылом, глубоко внизу, снежно белело сугробное поле беспредельных облаков. Самолет шел с прежней неощутимой плавностью, и в гуле турбин не прослушивалась какая-нибудь посторонняя нота. Сыромуков не уследил, когда бортинженер покинул люк. Ковровая дорожка лежала на своем месте, и все пассажиры сидели в прямых покойных позах, и большие кепки парней-грузин громоздились на сетке одна поверх другой...

Из Минеральных Вод до Кисловодска Сыромуков подрядил такси. Шофер запросил двенадцать рублей, и он согласился, так как с сердцем было нехорошо. Гудела голова, и в ушах с неприятным ломким хрустом шелестели барабанные перепонки. Он уже сидел в машине, когда к шоферу подошли мужчина с женщиной, и тот взял их за дополнительную десятку. Сыромуков предложил даже переднее сиденье и перешел на заднее. Супруги почему-то посчитали нужным поблагодарить его за учтивость. Сосед Сыромукова сразу же отвернулся от него, заглядывая в окно. Женщина тоже села вполоборот к шоферу, по чему Сыромуков решил, что его попутчики – тайные любовники, пробирающиеся на курорт: тех всегда преследует опасность быть внезапно опознанными. Ехали молча, и было неизвестно, что лучше – отчужденная замкнутость, позволявшая каждому держаться в свободной независимости созерцателя предгорной природы, или же так называемая сердечная общительность, когда вынужденно приходится подлаживаться под тон случайного собеседника, даже если тот окажется дураком. Было хорошо вот так расслабленно и безответно сидеть и смотреть, как проносятся назад по обочине шоссе белые домики, заслоненные не то яблонями, не то другими какими-то садовыми деревьями с бурой лохматой листвой; как чарующе неколебимо текут из глинобитных труб этих домиков голубые дымы, – кизячные, наверно; как в жухлой пропыленной траве по канаве возле дороги бродят белые куры и белые козы; как на теплом розовом небе возникает и надвигается

громада Бештау. Это все склоняло к покою и побуждало верить, что тут живут люди, зачарованные безмятежным потоком таких вот тихих розовых дней, и что никому из них не знакома зубная боль в сердце...

В Кисловодске совсем не чувствовался ноябрь. Здесь стояла настоящая августовская погода, когда небо бывает пронизано сокровенно нежной и глубокой просинью и на нем явственно проглядываются сверкающие нити парящей паутины. Да, в этой благословенной котловине со своим микроклиматом царило еще лето, и курортный народ гулял по улицам в легкой одежде, хотя попадались кое на ком меховые шапки, валенки и даже мокасины – то были люди с Севера. Попутчики Сыромукова вышли в центре у нарзанных ванн. Женщина напряженно и прямо, как по бревну через пропасть, направилась к противоположному туалету, а мужчина умышленно долго возился с бумажником, пока нашел там две пятерки.

Шафранные корпуса санатория, куда направлялся Сыромуков, стояли особняком, вознесясь над городом. В последний раз Сыромуков лечился в нем зимой шесть лет назад и помнил, как худо ему пришлось из-за сожителя по палате: тот почти каждый день после обеда с вежливым напорным нахальством просил его погулять – сам понимаешь, часик-другой по «Храму воздуха», – а там дуло со всех сторон, и поневоле приходилось забираться в дымновонючую шашлычную. Сожитель этот был директором какого-то степного овцеводческого совхоза, могучий и денежно богатый мужик, полностью неуязвимый с моральной стороны: им так и не удалось тогда ни разойтись по разным палатам, ни поссориться, несмотря на то что овцевод временами предпочитал почему-то любить не в своей кровати, а в сыромуковской. Он не мог толком объяснить, что влекло его на чужую постель, и только бездумно хохотал и совершенно искренне – «ну братски, понимаешь?» – предлагал Сыромукову воспользоваться в любое время его кроватью. Сыромуков вдруг застиг себя на мысли, что хотел бы снова повстречать того степняка и поселиться с ним в одной палате. Он не стал рассуждать о причине этого странного своего желания, так как к нему примешивалась горечь какой-то неосознанной утраты, а печаль о прошлом – первый признак старости, и больше ничего.

На площадке у главного корпуса своего санатория Сыромуков расплатился с шофером и пошел к подъезду мимо скамеек, где под заходящим солнцем сидели курортники – человек десять или пятнадцать мужчин и женщин неопределенного возраста, – они все были в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику. Точно такой же костюм, называемый в Прибалтике тренингом, вез с собой и Сыромуков. Он купил этот тренинг с великим трудом перед самым отъездом, что называется, достал и поэтому втайне рассчитывал на его неповторимость.

– Послушай, друг! Бурдюк свой забыл!

Шофер держал чемодан так, как только, наверно, можно и нужно держать плохой бурдюк с большим вином, – обеими руками между расставленных ног. Шофер смеялся, и люди на скамейках тоже. Тогда на Сыромукова пала та гневно-страстная секунда затмения реальности, когда он бывал способен на вполне безрассудный поступок во имя своего достоинства, – он чуть-чуть не сказал шоферу, что дарит этот бурдюк ему. В регистратуре сестрица отобрала у Сыромукова курортную карту, путевку и паспорт, а взамен вручила ему талон в столовую и сообщила номер его комнаты. Путевка у Сыромукова была дорогой, в «палаты люкс», как значилось на ней, но то, что палата помещалась на третьем этаже, а не на первом, как он рассчитывал, что ее трехзначный номер состоял из нечетных цифр и на медном кольце громадного ключа, который выдали ему в гардеробной, болталась нечистая деревянная рукоятка, похожая на кляп из бочки, вселяло сомнение насчет «люкса». Гардеробщица сказала, что заносить в палату чемодан запрещено.

– Но там нужны мне принадлежности, – возразил Сыромуков.

– Чего надо заberi, а его сдай в камеру.

– Хорошо, я проделаю это позже, – сказал Сыромуков. В сердце вонзился маленький острый клещ и грыз и грыз его откуда-то изнутри, куда он не забирался прежде.

Палата оказалась в самом деле по-люксовски обставленной на двоих, большой светлой комнатой с высоким видом на Эльбрус, до его золотого на голубом небе седла отсюда чудилось не дальше пяти или шести километров. Сыромуков опустил в кресло и вместе с ним пододвинулся к раскрытому окну. Было тихо, одиноко-пустынно и почему-то жаль Дениса. Что он сейчас делает на краю света, один, в скучной мгѐ Прибалтики? Наверно, смотрит телевизор. А потом поужинает и ляжет спать. Но поужинает ли? Что ж. Ты сам тоже не будешь ужинать и ляжешь спать, а утром напишешь ему письмо, как и обещал. Сразу же по приезде. Вот и все. И нечего подкалывать себя булавкой! Собраться и уехать домой ты всегда волен в любую минуту!

Вечер наступил сразу же, как только солнце зашло за Машук, но сумерки долго оставались прореянными таинственным изумрудным светом, будто мир проглядывался через витражный осколок. Такой свет покоил душу и одновременно вызывал пронзительную тоску. Сыромуков дождался времени ужина и по безлюдью за два похода перенес из гардеробной в палату содержимое чемодана, а его, обмякший и усохший, как вымя яловки, сдал в камеру хранения.

Проснулся Сыромуков на рассвете – утро наступило тут часа на два раньше, чем дома, в Прибалтике. Где-то далеко, не то в низине, не то в горах, протяжно и весело, как весной, пел петух, и на корзине под окном палаты натужно и страстно ворковали голуби. Было непривычным и странным тут сухое сизовеющее небо, празднично засеянное крохотными бестрепетными звездами, гаснущими ласково и замедленно. «Это все мне явилось оттуда, из детства, – с тихой радостью вспомнил Сыромуков, – это же давнее пасхальное утро, и ты ждешь мать из церкви с освященным куличом. На тебе новая ситцевая рубаха и новые молескиновые штаны, и ты ждешь на крыльце хаты, а на небе точно такие же кроткие зоревые звезды, и в соседних дворах возвестно поют петухи. Ты ждешь, чтоб разговеться крашеным яйцом и громадной легкой скибкой кулича. Если б только знал Денис, что это такое на вкус!» А вслед за безмолвной священной едой наступал великий солнечный день, колокольный трезвон, яркие наряды девок на выгоне, разноцветная яичная скорлупа на молодой траве...

Не спеша, стараясь сохранить в себе ощущение весны и праздника, Сыромуков оправил постель, побрился, принял ванну, а потом выбрал лучшую рубашку и любимый галстук. Костюм сидел на нем статно и влито, и Сыромуков никому бы не признался, что его почему-то молодо радовала эмблема марки голландской пошивочной фирмы на левом внутреннем кармане пиджака, – там был изображен оранжевый петух с весенней масличной веткой в клюве. Перед зеркальным трельяжем Сыромуков стоял умышленно близко к стеклу, чтобы видеть лишь воротничок рубашки, галстук и пиджак, так как начес на просвечивающуюся плешину вдоль темечка решено было сделать после письма Денису, перед уходом из палаты.

Письмо получилось каким-то ребячески восторженным, а это Денису не годилось. Ему надо помогать мужать и огрубляться! Ну, что хорошего в этом сюсюкающем «родной мой мальчик»? «Не хватало, чтобы ты еще назвал его сироткой. Хочешь, чтобы он заплакал там? Давай пиши так: чижик, мол, привет! Да и не чижик, а просто – сын, как, мол, у тебя дела? Я, мол, доехал благополучно... и скоро вернусь. Погода тут чудесная, светит солнце, поют петухи...»

Плешь маскировалась мелкими зигзагообразными взмахами расчески с затылка наперед. Тогда остатки прежнего буйства волос пушились и небрежным грибоедовским коком укладывались над лбом. На ветру или при малейшем сквозняке волосы дыбились, заносясь назад, и поэтому Сыромуков не ходил по улице без берета. Он понимал, что это глупо, хотел быть моложе, а не старше себя, но все его попытки породниться со своим отражением в зеркале безысходно кончались бунтом сердца против самого себя. Не вышло у Сыромукова братание с самим собой и сейчас, несмотря на то что его все еще не покидало чувство соприкосновения с детством.

Из-за гор всходило красное близкое солнце. С «Храма воздуха» доносились взревы баяна и команды физзарядки, потом мощный хор рванул там знакомую с пионерских времен «Как родная меня мать провожала». Сыромуков растворил окно и до конца прослушал песню, глядя на солнце, чтобы убедить себя, будто это и есть причина слепящих слез, набухавших в глазах. Сердце было согласно на уютный для себя обман, оно билось мерно и немного, и Сыромуков, аккуратно приладив на голову берет, вышел из палаты. Плотная ковровая дорожка в длинном широком коридоре по-больничному заглушала шаги, и лучше было идти у ее кромки прямо по паркету, скрипевшему, как крещенский наст тогда в деревне. Из глубины коридора ему навстречу стремительной четкой походкой двигался высокий человек в темном щеголеватом костюме и с беретом на голове. Человек шел не по ковру, а по паркету прямо на Сыромукова, словно не видя его, и то, как независимо держал он голову, как вызывающе сидел на ней берет – с напуском вперед и чуть набок, как надменно вскидывались и опускались на паркет его долгоносые сверкающие башмаки, вызвало у Сыромукова необъяснимо упрямое чувство протеста и желание отпора встречному. Не сбиваясь с походки, он загодя отвел от него глаза, решив не уступать ему дорогу, и чуть-чуть не столкнулся сам с собой в громадном стенном зеркале, вовремя заметив справа от него большую шахту лифта и марш лестницы. На первом этаже возле лифта толпились толстые пожилые курортники и курортницы, вернувшиеся, наверно, с физзарядки. Их было много, безобразно выпуклых в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику, и никто из них не желал подняться пешком к себе на второй или третий этаж.

«Ногами надо работать, окороками», – мысленно посоветовал им Сыромуков, решив, что надевать свой тренинг не станет. Он миновал физкультурников чуть ли не строевым шагом, опасаясь, все ли на нем в порядке не только спереди, но и сзади. Еще не было восьми часов, и Сыромуков рассчитывал оказаться первым в регистратуре, чтобы получить курортную книжку и направление к врачу, но там уже ожидали приема несколько человек, судя по всему, только что прибывшие московским утренним поездом. Он занял очередь, отметив про себя, что никто тут не был моложе его, если не считать девушки-карлицы в модном кожаном пальто-макси и серебряной шляпке-цилиндрике, надетой высоко и прямо. Малышка назвалась последней в очереди. Она отчужденно стояла в уголке, так как места на двух диванах были заняты, и эта нелепая шляпка на ней и раздутые колоколом полы пальто, доходившего почти до паркета, делали ее похожей на бутылку из-под шампанского. Такие, сочувственно подумал Сыромуков, слишком чувствительны и самолюбивы. Они постоянно находятся в повышенном психическом напряжении, так как каждую секунду ждут нанесения урона себе. Еще бы! Эта, например, не сядет на диван, если освободится место, потому что успела уже обидеться на всех тут за невнимание к ее отторженному крошечному величию! Как она оцепенело и неприступно смотрит перед собой. Какое благородное презрение кипит в ее судорожно подозрительном сердчишке ко всем этим ленивым тушам, воссевшим на диванах и вынудившим ее очутиться на виду у всех со своей обездоленностью. Да еще последней в очереди. Всегда и все ей последнее!.. Кем считает она их – и тебя тоже? Дураками и дурами, конечно, потому что сама, наверно, умненькая и злая, как все убогие – у них выдается много времени для всяческих горьких раздумий. «Она недаром выбилась на курорт в глухой осенний сезон, когда здесь собирается разная старая заваль, на чьем фоне еще может выделиться ее единственное достоинство – молодость», – подумал Сыромуков, и пошел к лифту, и взял там пустующее полукресло. Еще на середине пути, возвращаясь с ношей, он заметил, как защитно напряглась, подавшись в угол, карлица, взглянув в его сторону и тут же отвернувшись, – у нее не было уверенности, что он не нанесет ей сейчас новое унижение. Сыромуков подумал, что, если она заупрямится, сам он тоже не сядет. Но все обошлось благополучно. Девушка жеманно, со старомосковским распеваем на букве «а» поблагодарила его и опустила на краешек полукресла, страшась оторвать ноги от пола. В регистратуру заходили по двое. При выдаче курортных книжек там брали за что-то полтора рубля, и у москвички не оказалось мелких денег, а только «четвертные билеты», как

она сообщила регистраторше протяжно и беспомощно. Сыромуков поспешил ей на выручку и заплатил трояк за двоих.

– Благодарю ва-ас, – сказала она, когда вышли в коридор. – Но как же я верну долг? У меня скверная зрительная память на людей.

– Не беспокойтесь, я вас запомню сам, – ответил Сыромуков.

– Да? – сухо произнесла она.

– Я художник, поэтому зрительная память у меня отличная, – безоглядно и противно для себя солгал зачем-то Сыромуков. Малютка помигала на него длинными кукольными ресницами, и Сыромукову показалось, что она присела в книксене.

– Ну хорошо. Тогда подойдите, пожалуйста, ко мне сегодня в столовой.

– Да-да, не беспокойтесь, – нетерпеливо сказал Сыромуков. Ему было досадно за свое вранье и хотелось поскорее отправить письмо Денису. Почтовые ящики – один красный для авиаписем и другой синий, под простые, – стояли на табуретках в вестибюле. Он опустил письмо в красный и тут же подумал, что напрасно написал Денису про петухов и солнце. Это может вызвать у него тоску по весне, а рассеянности на уроках там и без того хватает. Ему надо писать отсюда деловые письма. Серьезные. Занятые. В конце концов лечение – тоже труд, а не удовольствие. Как для него там математика, например. Или физика. И свободного времени, надо написать ему, тут не очень много. Везде и всегда нужен труд и труд. Только и всего!

«А ты в самом деле начнешь тут лечиться, – сказал себе Сыромуков. – Ты будешь выполнять все процедуры, что назначит врач. Кроме, конечно, физзарядки на «Храме воздуха». Это тебе не обязательно. Заряжаться можно самостоятельно у себя на балконе. А все остальное – беспрекословно!»

Он вернулся в корпус и отыскал кабинет, где проводились антропометрические измерения. Рост его остался прежним, давним, военным, – сто восемьдесят три сантиметра, а вес достиг семидесяти пяти килограммов: на четыре больше, чем было шесть лет назад, когда он взвешивался в этом кабинете.

На воле было чисто и высоко. Вершина Эльбруса уже сияла слепяще и знойно, а в распадах гор текуче копился сквозяще-сизый туман, и казалось, что там таится какая-то нежная подарочная тайна миру на этот день. Площадка перед корпусом оставалась пока в тени, но все скамейки были заняты курортным людом в тренингах – новых, не вылинявших и еще издали пахнувших уксусной эссенцией. Курортники сидели прочно и молча, и все держали в руках голубые фаянсовые кружки с парящими на них золотыми орлами – попили натошак нарзан и теперь дышали горным озоном, ждали солнца и целебного действия выпитой воды. Площадку окаймляли тополи и айвы, и под ними, с метелками, мешками и шестами-битами, копошились санаторные уборщицы – обивали и сгребали листву. Они поглядывали на скамейки, приглушенно переговаривались и хохотали, а там делали вид, будто ничего не замечают и не испытывают никакой неловкости. Было ясно, что уборщицы потешались над толстяками и толстухами, считая, что для их здоровья полезно порастрасти жир, и Сыромуков весело согласился с ними. Он чувствовал, как звенит в ушах от голода, потому что не ел целые сутки, но тело ведь не знает, что это не от беды, а только от прихоти. Ну, не совсем от прихоти, а и от сердца, потому что оно лучше работает, когда хочется есть, и еще из-за солидарности с Денисом, если он там не поужинал почему-либо вчера. Он подумал, что хорошо сделал, захватив с собой пять белых рубашек и кучу носков, – можно будет менять каждый день, и хорошо, что на внутреннем кармане пиджака живет оранжевый петух и что у берета сам собой получается задорно легкомысленный напуск. Уборщиц, пожалуй, надо было бы чем-нибудь одарить. Подойти и одарить ради этого несказанного утра, невообразимого неба и той хрустальной таинственности, что залегла в ущельях гор. Тут уместны были бы небольшие шоколадки в ярких обертках. Или крашенные яички! Тогда можно было бы – в шутку, понятно, – сказать каждой из них: Христос, дескать, воскрес, и почтить древний обряд с поцелуями... «Старый ты пшют в берете, – поощ-

рительно сказал себе Сыромуков. – Лысину-то прячешь небось? Маскируешь? Что ж, недолго осталось...» Он попятился назад, в вестибюль, потому что сердце споткнулось и замерло, подскочив к гортани, стремительно набухая там теснящей мукой зажатости и страхом. Как всегда, руки его вскинулись к голове, а глаза метнулись по сторонам, но сердце опало на свое место, будто вырвалось из петли, и трижды толкнулось сильно и больно.

«Это от перемены климата, – безгласно прокричал себе Сыромуков. – Это сейчас пройдет, ты только дыши поглубже!»

Он стоял у колонны вестибюля и обеими руками ненужно трогал и трогал берет, ощущая лопатками ознобную прохладу шероховатого туфа. «Прохлада – хорошо, это все равно что холодный компресс на грудь, если успеть с ним вовремя, – думал Сыромуков. – Не надо только показывать вида, что тебе плохо. Поправь еще раз берет и вздохни поглубже. Тут чистый кислород... И правильно делают эти жизнелюбивые люди, что сидят там на скамейках и дышат озоном. И ничего нет зазорного в том, что все они в одинаковых нелепых тренингах. Кому это мешает? И пусть они пьют свой сульфатный или доломитный нарзан, раз это им нравится...»

Когда уже можно было оставить берет в покое, Сыромуков небрежно, как леденец против курения, кинул в рот таблетку валидола и осторожным куцым шагом, чтобы не сбивать дыхания, прибежденно миновал скамейки. Недалеко за ними был, оказывается, бассейн без воды, окруженный зелеными кустами туи. В тесных нишах этих кустов скрывались узенькие, с крутыми неудобными спинками лавочки; никому бы и в голову не пришло прилечь на них. Сыромуков примостился на лавочке и стал глядеть в небо, запрокинув голову и дыша раскрытым ртом, – вблизи никого не было.

– Лавочки тут – хорошо, – отвлекаясь, без участия губ сказал он. – И это ничего, что они узенькие. Это ничего. А бассейн всегда можно наполнить водой. Когда угодно...

Небо уже по-дневному углубилось и посинело, и в нем обманчиво медленно плыл, звездно искрясь, крошечный истребитель, оставляя за собой бурунно-белую инверсионную полосу.

– Военные летчики тоже знают это, – на какую-то еще нечеткую свою мысль вслух отозвался Сыромуков. «То есть самые умные из них», – подумал он. Как тот француз, сбитый немцами уже в конце войны. Он был на всякий случай графом и писателем. Рыцарская такая фамилия... Запомнилась. Да это и неважно. Потом, когда не нужно будет, вспомнится. Он сказал, что плевать хотел на пренебрежение к смерти, если в основе его не лежит сознание ответственности. Без того оно лишь признак нищеты духа, и больше ничего. Хорошо сказано. Смело и точно, – ему часто грозила смерть. Интересно бы знать, каким он бывал после этого? Тоже становился во всем сговорчивым и доброжелательным к миру? Вот как ты сейчас, когда тебя умилили эти пехтеры на скамейках? Возможно. Иначе ему не удалось бы написать книгу «Земля людей». Как же его звали? Забыл... И все же человека всякий раз подстерегает глупость, если он подвержен страху смерти. В тот момент его покидает воля, и у него происходит распад связей. Он готов тогда благословить все сущее, красивое и безобразное, возвышенное и низменное. Все, дескать, благо, все добро и чудо. Значит, в этом случае получается, что страх облагораживает человека, поскольку он – пусть даже временно – становится доброжелательней к миру? Нет. Этого не может быть. Страх – чувство подлое по своей сути. Он всегда мешал жизни. Он прародитель лицемеров, предательства, холопства. Да мало ли!.. И все же за ним надо признать и некоторую творческую силу: он ведь учит людей приспособливаться к условиям бытия, верно? Да, но только приспособливаться, а не подчинять условия себе. Страх всегда обрекал человека на рабство и пресмыкательство!.. Ладно, пусть так. Но при чем тут люди на скамейках? Почему ты посчитал свое умиленное чувство к ним ошибкой? Да никто ничего не посчитал! Просто дело в том, что сытый субъект всегда опасен своим самодовольством и безучастностью. У такого умри на глазах – не отзовется. В то же время он склонен предъявлять

нахально повышенные требования к деятельной личности, хотя сам всю жизнь препятствовал развитию этой личности...

«Ты бы лучше посидел спокойно, – приказал себе Сыромуков. – Ты приехал сюда лечиться, а не философствовать. Сиди и дыши... Но лечиться я не буду, – тут же подумал он. – Этого делать еще нельзя, потому что тогда наступит конец еще при жизни... Но ты ведь только что был согласен исполнять все, что предпишут врачи... Это я обещал не себе, а Денису. И взвешивался для него. Я буду принимать нарзанные ванны и циркулярный душ. Как в тот раз...»

Самолета в небе уже не было, а полоса изломалась и расплылась. Сердце еще ощущалось, только во рту тошнотворно саднило от валидола и бурно урчало в пустом желудке. Если не ходить сегодня к врачу, то сидеть тут и ждать час завтрака не имело смысла. Сыромуков помнил, что кафе в городском парке открывалось рано, и в это время там бывало чисто и пусто, и на столиках стояли вазы с красными розами. «Я закажу чебуреки, – решил он. – Или лучше шашлык и бокал шампанского. Сладкого. Между прочим, от рюмки коньяка тоже ничего не случится».

В город можно было спуститься по асфальтированному терренкуру, но рядом в алычовых и боярышниковых кустах пролетала растоптанная самочинная тропа, засоренная обрывками газет, окурками и опавшей листвой, и Сыромуков пошел по ней, – ее тут проторили, конечно, здоровые и веселые люди. Вроде того овцевода. Хорошо бы повстречать его сейчас на этой тропе. Одного, понятно. Пускай бы он шел снизу, из города, только что тяпнувший перед завтраком. «Впрочем, это невероятно», – подумал Сыромуков без всякого сожаления, потому что ему услужливо и радостно вдруг вспомнился другой человек – направщик бритв, местный старик горец с обезволивающими черными глазами ведуна. Он располагался при входе в парк у грота Лермонтова. Деревянный станок его, отдаленно похожий на прялку, был оснащен различными трансмиссиями с точильными кругами и всевозможными – латунными, бронзовыми и медными – шкивами, колесиками, шестеренками, валиками, шатунами, и все это начищено сверкало и горело, скользило, крутилось и вертелось в разных направлениях, как только старик нажимал ногой педаль, и невозможно было отвести глаз от станка – он зачаровывал и оцепенял, как затухающее пламя в осенние сумерки. Старика постоянно окружала толпа. Он работал, а люди смотрели. Вполне возможно, что все они были сердечники, приходившие к станку, как на врачующую процедуру: возле него можно было простоять с утра до вечера и ни разу не вспомнить о сердце. Старик все время был занят, он точил собственные бритвы. Сыромуков понял это на третий день похода к нему, а в следующий раз принес две только что купленные бритвы и с тех пор направлял их ежедневно – то одну, то вторую. Старик не показывал вида, что применил его, – точил и точил, только плату сбавил наполовину против первого раза. Его следовало повидать до кафе, отрадней будет сидеть и ждать еду, решил Сыромуков. Но какой дурак пьет с утра коньяк, да еще в одиночку! Вот если бы этот колдун с гор взял и согласился... Станок же можно будет поставить перед окном кафе, чтобы все время видеть и не беспокоиться...

Внизу воздух был теплым и вкусным – в санаторных столовых накрывали столы к завтраку. В улицах царил покой, и норовилось идти так, чтобы металлические косячки каблучков прилегали к тротуару печатно ладно, и не шаркающе, тогда возникало звонисто-чистое эхо, будто кто-то – мало ли! – идет тут при шпорах. Старика на месте не было, и Сыромуков, торопясь, заверил себя, что он, наверно, запаздывает по какой-нибудь уважительной причине. Могут же, например, возникнуть в станке неполадки? А сам он, конечно, жив и здоров. Ему тогда было... ну, от силы семьдесят, а горцы живут по полтора ста и больше! Сыромукову хотелось, чтобы все в этом его первом курортном утре было справно и ладно, и он снова мысленно повторил, что со стариком все благополучно и что сам он поступил хорошо, придя на свидание с ним, – в конце концов всегда счастлив тот, кто видит в своем действии следы собственной воли. Он прошел к гроту, но вход в него оказался заделанным толстой стальной решет-

кой, заключившей в промозглой каменной дыре невеселый бюст поэта. Решетка не только не вписывалась в идею грота, но в корне подрывала и перевирала его смысл, и надо было искать оправдание действию тех, кто ее поставил тут, и верить, что ими руководила похвальная цель. Сыромуков, возможно, придумал бы для себя эту цель, не уходя от грота, но в верховьях парка – в стороне кафе – уже несколько раз булькаяще запевал не то соловей, не то иволга, и это было пугающе маняще и невероятно: соловей в ноябре! Разъяснилось все просто и буднично: в центре парка Сыромуков еще издали увидел длинного сухопарого человека с лихими казачьими усами, вспомнил и узнал его. Как и шесть лет назад, на нем был закирзовевший брезентовый плащ с полуоторванными накладными карманами и непотребно грязная парусиновая сумка, по-побирушьи свисавшая с плеча, где он хранил запас глиняных соловьев. Маскарад с одеждой и сумкой придумал, конечно, не от добра – как-никак, он занимался частнопредпринимательской деятельностью, а товар его раскупался с ходу, и все же он не вызывал к себе сочувствия, так как всегда был почему-то остервенело зол и груб с покупателями, – надоели, наверно. В тот, прошлый, раз Сыромуков привез Денису такого соловья, но в первый же день сын разбил его и потом долго плакал и просил снести глиняные осколки в мастерскую. Стоило ли покупать соловья теперь и ожидать возможное горе? «Но этот тип засвистит сейчас специально для меня, поскольку больше тут никого нет, – подумал Сыромуков, – и «не услышать» и свободно пройти мимо него будет немислимо». Усатый и в самом деле при подходе Сыромукова издал две переливчатые трели, свирепо глядя куда-то вбок и в сторону, и Сыромуков купил у него двух соловьев и посадил их в карман пиджака, где был изображен петух с веткой.

В кафе было чисто и безлюдно, и на столиках алели свежие астры.

Через час Сыромуков приблизительно знал, какой формы и цвета будет там у них аппарат стопорения времени – вроде портсигара из какого-нибудь лунномерцающего невесомого сплава, а кнопка – они назовут ее как-нибудь иначе, таинственной и торжественной – будет, наверно, рдяно-багряная, как человеческая кровь. Впрочем, цвет этот тревожный, и они не захотят его. Кнопка, надо полагать, будет лазурной или зеленой. Аппарат сохраняется на груди, как носили когда-то верующие ладанку, и когда человеку понадобится, когда ему станет в какое-то мгновение до сладкого изнурения хорошо и радостно жить, он дотронется до кнопки, и мгновение остановится. «Да, им, будущим, не понадобятся на костюмах гарусные петухи для бодрости, – с жадной завистью подумал Сыромуков, – но что они будут говорить о нас, господа! Неужели станут стыдиться, как стыжусь я сам Смутного времени, Малюты Скуратова, Гришки Отрепьева – да мало ли! Но Куликовская битва, но Бородино, но полковник Пестель, дворцы Варфоломея Растрелли, разгром фашизма, полет Гагарина... Нет, черт вас там подери со своими аппаратами времени, нет! Вы только тем и будете знамениты, что мы жили на земле раньше вас и доводимся вам родней!»

– Понесся! – усмехнулся над собой Сыромуков, – а Денису удивляешься, что на уроках, забывшись, он выхватывает деревянный пистолет и пугает под ноги учителю!..

К гроту возвращаться не хотелось – лучше было «не помнить» о решетке и не думать ничего тревожного о точильщике, если его не окажется на своем месте. Курить бы тоже не следовало, чтобы подольше сохранить в себе ощущение чистоты и здоровья: сердце билось ровно и только чуть-чуть учащенно, но одна сигарета, подумал Сыромуков, ничего не будет значить, поскольку она с фильтром. Он пошел к своему санаторию кружным путем, мимо «Храма воздуха», и те курортники, что встречались ему, взглядывали на него любопытно и весело – напуск берета, наверно, потешал, но поправлять его не тянуло. Было по-летнему тепло, почти знойно. В горах миражно дрожал и струился разогретый воздух, и высоко над котловиной города трепыхалась большая стая голубей. Все это хотелось задержать в мире и в самом себе. Хотя бы на полдня или в крайнем случае часа на три... Но как же я узнаю, спохватился Сыромуков, что должно было быть вслед за этим! Я, скажем, застопорюсь, а на эти мертвые для меня мгновения жизнью, возможно, намечалось еще лучшее! Выходит, что я в таком случае лишусь его?

Нет, это не годится! Аппарат времени не нужен! С ним можно уготовать для себя черт знает какие необратимые утраты! Надо, чтобы всегда, каждую секунду человек ждал и хотел прихода нового. Недаром ведь кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня...

Сыромуков помнил и конец этой краткой благодарственной молитвы в честь жизни: где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и выюги на голых и от века пустынных горах, но цитировать его не стал. Он оглядел Машук и Бештау и решил, что вторая сигарета так же не повредит ему, если курить вползатяжки. День сулился так и пробыть до вечера, каким зародился – сизо-розовым по окраске и пасхальным по незримому в нем торжеству. Идти в гору было легко, потому что приходилось то и дело останавливаться и затаиваться: в притропных кустах боярышника копошились и флейтисто свистели какие-то продолговатые черные птицы – обклевывали ягоды, и Сыромуков попробовал ягоды тоже и убедился, что это сладко. На площадке перед санаторием несколько курортников состязались в меткости забросов резиновых колец – их надо было метров с двадцати накинуть на деревянные штыри в квадратном щите, помеченном цифрами-очками. Когда Сыромуков вышел к площадке, кольца кидала пожилая коренастая женщина в белой курортной фуражке и синем тренинге, и то, как она наторело, сноровисто сажала и сажала кольца на один и тот же кляп, как в момент броска по-девчоночьи тоненько вскрикивала, взбрыкивая короткой толстой ногой и крутым вздорным задом, возмутило Сыромукова. Он тут же подумал, что своей надменной походкой и беретом сам он так же, наверно, способен вызвать протестующее чувство в другом, но это не погасило в нем странного и неосуществимого желания: подойти и шлепнуть ладонью по курдюку разрезвившейся старухи, чтобы не дурила!

В гардеробной не оказалось ключа от палаты, а это могло означать, что появился сожитель. Сыромуков заклинающе попросил судьбу, чтобы она послала кого угодно, только не инвалида с протезом ноги, – тогда все двадцать пять суток превратятся тут в пытку виноватого сопереживания чужой давней боли и чужой физической неполноценности: ведь кровати стоят почти смежно, и каждую ночь протез тоже будет стоять рядом.

Ключ торчал в двери. Сыромуков постоял, прислушиваясь к шорохам в палате, и, когда ему почудился там аритмичный кожаный скрип, постучал в дверь.

– Войдите, пожалуйста, – слабо сказали за ней. Да, конечно. Интеллигентный инвалид. Такие всегда вежливы и просветленно печальны. Отселиться будет невозможно, не нанеся ему травмы, подумал Сыромуков, и, значит, придется уезжать раньше. Впрочем, сейчас все выяснится, только надо войти поприветней для него. В сущности, ты ведь сам тоже инвалид... В палате пахло одеколоном и каким-то грустным черемушным ароматом, и у зеркала, лицом к двери стоял на своих собственных ногах опрятный поджарый старик с белым наивным лицом. Он с робким интересом смотрел на Сыромукова, загодя готовя правую руку, и Сыромуков с благодарной радушностью пожал ее, назвав свое имя и отчество.

– А меня зовут Павел Петрович Яночкин, – представился сожитель. – Вы давно уже здесь? Сыромуков сказал.

– Ну, значит, и уедем разом. Поездом прибыли?

– Летел. А вы?

– Я, знаете, сплоховал. Угодил в купе с пьяницами. И от самой Москвы дым, крик, матерщина. Вы, извините, тоже курите?

– Изредка. Не переносите никотин?

– Терпеть не могу, хвораю тогда, – жалобно сказал старик. Глаза у него были младенчески синие и просящие. Сыромуков готовно пообещал, что курить в палате не будет. Сожитель понравился ему. Он, оказывается, не против коньячку и сухого винца, если под культурный разговор, но вот курить не надо бы.

– Договорились, Павел Петрович, все будет в порядке, – сказал Сыромуков, – но вы тоже примите на себя одно джентльменское обязательство, согласны?

– Пожалуйста, Родион Богданович. Какое?

– Не приводить в палату после своей шестой нарзанной ванны женщин и не укладываться с ними на мою кровать.

– Ах, чтоб тебе пусто было! – восхитился сожитель. – Не-ет, я, брат, на эти дела уже не гожусь. Зубы не те. Это тебе, молодому, одно на уме. Да я мешать не буду, я люблю побыть на воздухе, так что не беспокойся.

Сыромуков прикинул, сколько могло стукнуть Петровичу, – не больше, наверно, шестидесяти, и решил, что разница в двенадцать лет предоставляет тому привилегию обращаться к нему на «ты».

Как все безотцовцы, Сыромуков с детства был стыдливо застенчив в незнакомой ему среде. Он тогда – особенно на первых порах – замыкался и каменел в неприступной самозащитной позе, духовно напрягаясь почти до физического страдания, вызывая ответную неприязнь и отпугивая от себя прежде всего простых и общительных людей. Он знал за собой этот не истребленный возрастом ребяческий недостаток, граничащий с пороком, но ничего не мог с ним поделать. Временно избавившись от трудной для себя церемонии не постепенного, а одновременного знакомства с дружным, как это представлялось, коллективом стола, когда Сыромуков под милосердным для себя предлогом не пошел ни вечером, ни утром в столовую, он перед самым обедом внезапно осознал неотложную необходимость положить деньги в сберегательную кассу. Еще в кафе, лишь только официантка принесла в графинчике коньяк и в его смугло пламенеющем настое Сыромуков увидел свое далекое отражение, ему пришлось пережить минутное чувство щемящей вины перед Денисом: там дождь, уроки, тоска по отцу, а тут цветы, коньяк спозаранку и двести десять рублей, неизвестно для чего взятые из дому! Тогда и было решено спрятать куда-нибудь подальше от себя полтора ста рублей, чтоб привезти их назад. От этой утешной мысли на душе сразу полегчало и о деньгах забылось, но теперь вспомнилось снова и очень кстати, – в столовую можно будет пойти к концу обеда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.